

Содержание

Владимир Короленко	
В ночь под Светлый праздник	7

Алексей Тихонов-Луговой	
Швейцар	18

Александр Шеллер-Михайлов	
Пасхальная ночь	56

Вера Желиховская	
Ночь всепрощения и мира	83

Александр Куприн	
Бонза	103

Константин Станюкович	
Надежда Порфирьевна	118
Светлый праздник	150

Алексей Будищев	
На пути	166

Александр Серафимович	
Епишка	178

Игнатий Потапенко
Воистину воскрес 192

Петр Оленин-Волгарь
В Светлую ночь 210

Федор Сологуб
Помнишь, не забудешь 226

Владимир Тихонов
Отец 252

Алексей Будищев
Была ночь 272

Степан Кондурушкин
Звонарь 292

Алексей Ремизов
Белая Пасха 312
Днесь весна 315

Зинаида Гиппиус
До воскресенья 328

Александр Куприн
Московская Пасха 339

Владимир Короленко
(1853–1921)

В ночь под Светлый праздник

Страстная суббота 187* года. Сумрачный вечер давно уже спустился на примолкшую землю. Разогретая за день и теперь слегка обвеянная бодрым дыханием весеннего ночного мороза земля, казалось, тихо вздыхала полною грудью; от этого дыхания, играя в лучах величаво горевшего звездного неба, вставали белесоватые туманы, точно клубы кадильного дыма, подымавшиеся навстречу идущему празднику.

Было тихо. Небольшой губернский город N., весь обвеянный сумрачною прохладой, замолк, в ожидании минуты, когда с высоты соборной колокольни прозвенит первый удар. Но город не спал. Под покровом влажного сумрака, в тени молчаливых, безлюдных улиц, слышалось сдержанное ожидание. Лишь изредка пробежит запоздалый труженик, которого праздник чуть не застал за тяжелою, непокорною работой, прогремит извозчичья пролетка — и опять безмолвная тишь... Жизнь схлынула с улиц в дома, в богатые

хоромы и скромные лачуги, светившие окнами на улицу, и там притаилась. Над городом, над полями, над всею землей слышалось незримое веяние наступающего праздника Воскресения и обновления...

Луна не поднималась, и город лежал в широкой тени возвышенности, на которой виднелось большое, угрюмое здание. Станные, прямые и строгие линии этого здания мрачно рисовались на звездной лазури; темные ворота чуть-чуть выделялись, зияя во мраке затененной стены, и четыре башни по углам вырезались на небе острыми вершинами.

Но вот с высоты соборной колокольни сорвался и пронесся в чутком воздухе задумчивой ночи первый звенящий удар... другой, третий... Через минуту в разных местах, разными тонами, звенели, заливались и пели колокола, и звуки, сплетаясь в могучую, своеобразную гармонию, тихо колыхались и будто кружились в эфире... Из темного здания, затенявшего город, слышалось тоже чахлое, надтреснутое дребезжанье, как будто трепетавшее в воздухе в жалком бессилии подняться в эфирную высь за могучим аккордом.

Звон смолк... Звуки растаяли в воздухе, но безмолвие ночи лишь постепенно вступало в свои права: долго еще в сумраке чудился смутный, замирающий отголосок, точно дрожание

невидимой, натянутой в воздухе струны... В домах огни погасли; окна церквей сияли. Земля в 187* году еще раз готовилась провозгласить старый лозунг победы мира, любви и братства...

* * *

В темных воротах угрюмого здания лязгнули запоры. Полувзвод солдат, бряцая в темноте оружием, вышел сменять ночные караулы. Они подходили к углам, на время останавливались у постов; из темной кучки людей выходила размеренным шагом одна фигура, а прежний часовой как будто тонул в этой неопределенно черневшей кучке... Затем полувзвод двигался дальше, обходя вокруг высокой тюремной стены.

На западной стороне на смену стоявшего здесь часового вышел молодой новобранец; в его движениях не исчезла еще деревенская угловатость; молодое лицо хранило выражение напряженного внимания новичка, впервые занимающего ответственный пост. Он стал лицом к стене, брякнул ружьем, ступил два шага и, сделав полуоборот, стал плечом к плечу прежнего часового. Тот, слегка повернув к нему голову, прочитал заученным тоном обычные наставления.

— От угла до угла... смотреть... не спать, не дремать! — быстро говорил солдат, а рекрут

слушал все так же напряженно, и в его серых глазах сквозило какое-то особенное выражение тоски.

— Понял? — спросил ефрейтор.

— Так точно!

— Ну, смотри! — сказал тот строго и затем, изменив тон, заговорил более добродушно: — Да ничего, Фадеев, не бойся! Чай, ты не баба... Лешего, что ли, тебе бояться-то?

— Зачем лешего? — наивно ответил Фадеев и потом задумчиво прибавил: — Так штой-то на сердце... будто как чижало, братцы...

При этом простодушном, почти по-детски звучащем признании в кучке солдат послышался смех.

— Вот она, деревня-то матушка! — с пренебрежительным сожалением промолвил ефрейтор и резко скомандовал: — Ружья вольно!.. Шагом марш!

Караул, мерно постукивая на ходу, скрылся за углом, и скоро шаги его стихли. Часовой вскинул ружье и тихо пошел вдоль стены...

* * *

Внутри тюрьмы, с последним ударом колокола, началось движение. Мрачная и скорбная тюремная ночь давно уже не видела подобного

оживления. Как будто действительно благовест¹ донесся сюда вестью свободы: черные двери камер одна за другой отворялись. Люди в серых халатах, с роковыми цветными лоскутьями на спинах, длинными вереницами, попарно, проходили по коридорам, входя в тюремную церковь, блиставшую огнями. Они шли справа и слева, поднимались по лестнице снизу, опускались сверху; среди гулко-го топота слышался по временам лязг ружья и переливчатое бряцание ножных кандалов. Входя в обширную церковь, серая толпа вливалась в отгороженные решеткой места и там затихала. В церковных окнах также виднелись крепкие железные решетки...

Тюрьма опустела. Только в четырех угловых башнях, в небольших круглых камерах, наглухо запертых, четыре одиночных арестанта угрюмо металась по своим кельям, по временам припадая ухом к дверям и жадно ловя отрывки долетавшего из церкви пения...

Да еще в одной из общих камер, на нарах, лежал больной. Смотритель, которому доложили о внезапно заболевшем, подошел к нему, когда арестантов уводили в церковь, и, наклонясь,

¹ *Благовест* — церковный звон одним большим колоколом, извещающий о начале богослужения.

заглянул в его глаза, горевшие странным блестящим и тупо устремленные в пространство.

— Иванов!.. Слушай, Иванов! — окликнул смотритель больного.

Арестант не повернул головы; он бормотал что-то невнятное; голос был хриплый; воспаленные губы шевелились с усилием.

— Завтра в больницу! — распорядился смотритель и вышел, оставив у дверей камеры одного из коридорных.

Тот внимательно посмотрел на лежавшего в горячке и покачал головой:

— Эх, бродяга, бродяга! Видно, братец, отбежал свое! — и, решив, что тут ему делать нечего, надзиратель прошел по коридору к церкви, остановился у запертой двери и стал слушать службу, то и дело припадая к земле для поклонов.

Пустая камера оглашалась по временам невнятным говором больного. Это был не старый еще человек, сильный и крепкий. Он бредил, переживая недавнее прошлое, и лицо его искажалось выражением муки.

Судьба сшутила над бродягой скверную шутку. Он прошел тысячу верст, пробираясь тайгой и дикими хребтами, вынес тысячи опасностей и лишений, гонимый жгучею тоской по родине, руководимый одною надеждой: «Повидать бы... на месяц... на неделю... пожить у своих...

а так — хоть опять та же дорожка!» За сотню верст от родимой деревни он попал в эту тюрьму...

Но вот невнятный говор притих. Глаза бродяги расширились, грудь дышит ровнее... Над горящею головой повеяло более отрадными мечтами...

...Шумит тайга... Ему знаком этот шум — ровный, певучий, свободный... Он научился различать голоса леса, говор каждого дерева. Величавые сосны звенят высоко, высоко, густою, темною зеленью... Ели шепчут протяжно и гулко; веселая, яркая листвен² машет гибкою веткой; осина дрожит и трепещет чутким, боязливым листом... Свищет свободная птица, ручей говорливо и буйно летит по каменистым оврагам, и таежные сыщицы — стая болтливых сорок — носятся в воздухе над теми местами, где, невидимый в чаще, проходит тайгою бродяга³.

Точно струя свободного таежного ветра опахнула больного. Он поднялся, глубоко вздохнул; глаза с выражением внимания глядят вперед, но вдруг в них блеснуло что-то вроде сознания... Бродяга, привычный беглец, увидел перед собою необычайное явление: открытую дверь...

² *Листвен* — лиственница.

³ Сибирские бродяги рассказывают, что в глухой тайге сороки стаями провожают пробирающегося в чаще человека. В те времена, когда охота на «горбачей» разрешалась законом, буряты-охотники выслеживали бродяг по громким крикам сорочьей стаи. (*Примеч. авт.*)

Могучий инстинкт встряхнул весь организм, потрясенный болезнью. Признаки бреда быстро исчезали или группировались около одного представления, ярким лучом прорезавшегося в этом хаосе: один!.. дверь открыта!..

Через минуту он стоял на полу. Казалось, весь жар воспаленного мозга хлынул к глазам: они глядели как-то ровно, упорно и страшно.

Кто-то, выходя из церкви, отворил на мгновение дверь... Волны стройного, смягченного расстоянием, пения коснулись уха бродяги и опять глухо смолкли. На бледном лице скользнуло умиление, глаза затуманились, и в уме пронеслась давно лелеянная мечтою картина: тихая ночь, шепот сосен, склонившихся темными ветвями над старою церковью родимой деревни... толпа земляков, огни над рекой и это самое пение... он торопился в пути, чтоб услышать все это там, у своих...

Между тем в коридоре, у церковных дверей, припадая к земле, надзиратель усердно молился...

* * *

Молодой рекрут ходит с ружьем вдоль стены. Перед часовым расстилается ровное, недавно обнажившееся из-под снега, далеко уходящее поле. Легкий ветер бежит по нем, шелестя засохшим

бурьяном, звенит в прошлогодней траве и веет в душу солдата спокойною, грустною думой.

Молодой часовой остановился у стены, поставил ружье на землю и, положив руки на дуло, а голову на руки, глубоко задумался. Он не мог еще ясно представить себе, зачем он здесь, в эту торжественную ночь перед праздником, с ружьем у стены, в виду пустынного поля. Вообще, он был еще настоящий мужик, не понимал еще многого, что так понятно солдату, и его недаром дразнили «деревней». Он так недавно еще был свободен, был хозяин, владелец своего поля, своей работы... а теперь страх, безотчетный, необъяснимый, неопределенный, преследовавший каждый шаг, каждое движение, вгонял молодую и угловатую деревенскую натуру в колею строгой службы.

Но в эту минуту он был один... Пустынный вид, расстилавшийся перед глазами, и свист ветра в бурьяне навевали на него какую-то дрему, и перед глазами молодого солдата несутся родные картины. Он тоже видит деревню, и тот же бежит над нею ветер, и церковь горит огнями, и темные сосны качают над церковью зелеными вершинами.

По временам он как будто очнется, и тогда в его серых глазах отражается недоумение: что это? — поле, ружье и стена... Он на минуту

вспоминает действительность, но скоро опять смутный звон ночного ветра навевает родные картины, и солдат опять дремлет, опершись на ружье...

Невдалеке от места, где стоит часовой, на гребне стены появляется темный предмет: это голова человека... Бродяга глядит в дальнее поле, к чуть видной черте далекого леса... Его грудь расширяется, жадно ловя свежее, свободное дуновение матери-ночи. Он спускается на руках и тихо скользит вниз вдоль стены...

* * *

Радостный гул колоколов будит ночную тишь. Дверь тюремной церкви раскрылась, во дворе крестный ход; стройное пение хлынуло волной из церкви. Солдат вздрогнул, выпрямился, снял шапку, чтобы перекреститься, и... замер с поднятою для молитвы рукой... Бродяга, достигнув земли, быстро пустился к бурьяну.

— Стой, стой!.. Голубчик, родимый!.. — вскрикивает часовой, в ужасе подымая ружье. Все, чего он боялся, перед чем трепетал, надвигается на него, бесформенное, страшное — в виду этой бегущей серой фигуры. «Служба, ответ!» — мелькает в уме солдата, и он, вскинув ружье, прицелился в бегущего человека. Перед

тем как спустить курок, он с жалким видом за-
жмурил глаза...

А над городом вновь парит и кружится в эфире гармонический, певучий, переливчатый звон, и... опять надтреснутый колокол тюрьмы трепещет и бьется, точно стон подстреленной птицы. Из-за стены стройно несутся далеко в поле первые звуки торжествующей песни: «Христос воскрес!»

И вдруг за стеной, покрывая все остальное, грянул выстрел... Слабый, беспомощный стон пронесся за ним беспредметною жалобой, и затем на мгновение все стихло...

Только дальнее эхо пустынного поля, с печальным ропотом, повторяло последние раскаты ружейного выстрела.

1885

Алексей Тихонов-Луговой
(1853–1914)

Швейцар

I

Трель электрического звонка раздалась в швейцарской. Еще раз, еще и еще.

Иван приподнялся на постели и стал было протирать глаза. Но, не успев проснуться, он вдруг опять повалился на подушку и заснул.

Звонок снова трещит, назойливо, продолжительно.

Иван вскочил, ощупью нашел на столике спички и дрожащей рукой зажег лампочку.

Звонок трещит.

Иван сунул ноги в опорыши, надел свою швейцарскую ливрею, взял лампочку и, поднявшись по ступенькам, отворил дверь из своей кобуры на лестницу.

Свет лампы, блеснув сквозь зеркальные стекла наружных дверей на улицу, остановил неугомонный звонок.

Ежась от холода, Иван нехотя пошел к дверям, по дороге поставил на стол лампочку и вынул из кармана дверной ключ.

Холодный, сырой ветер, с дождем и снегом, ворвался с улицы, как только Иван отворил дверь, а вслед за ветром ворвался целый поток ругательств.

— Черти! Лешие! Никогда этих проклятых швейцаров не добудишься! — ругался вошедший телеграфист, отряхивая с себя толстый слой мокрого снега.

— Ноги-то обтер бы, — как-то нехотя сказал Иван, искоса взглянув на грязные следы, оставленные на полу телеграфистом.

— Еще чего не прикажете ли? Пол не подтереть ли? Лежебоки проклятые! Целый час звонишь — не дозвонишься; стой тут на ветру да на дожде, пока он нежится изволит, — продолжал ворчать телеграфист, отирая о полы мокрые руки и доставая из сумки телеграмму. — Из Царицына, конторе Пфирзига, на, держи, распишись.

Иван молча взял телеграмму и стал искать в столе карандаш.

— Погонять бы вашего брата по такой погоде, так узнал бы кузькину мать, — не унимался телеграфист, развалясь на стуле у стола. — Добрые люди говорят, в эку-то погоду хороший хозяин

собаки на улицу не выгонит, а у нас не спрашивают: ночь-полночь, дождь ли, снег ли — знай лупи, куда велят.

Иван подал ему расписку.

— Часы-то что ж не выставил? — сказал телеграфист, взглянув на расписку; вынув из кармана серебряную луковицу, он добавил: — Пиши, один час восемнадцать минут пополуночи.

Иван написал и выдвинул ящик стола, чтобы бросить в него карандаш. Телеграфист увидел в ящике папиросы.

— Дай-ка курнуть, — обратился он к Ивану таким спокойным, приятельским тоном, как будто и не думал за минуту пред этим ругаться.

Иван нахмурился, однако достал из ящика папиросу. Телеграфист закурил ее от лампочки и затаился, оставаясь сидеть.

— Ну, уходи, чего расселся-то, — сказал Иван.

— Да дай отдохнуть-то, черт ты этакий, — опять обозлился телеграфист, — дай обогреться!

— А мне стоять да мерзнуть? — сурово заворчал Иван. — Проваливай!

— Не пойду. Что, взял?

— Убирайся, говорят тебе, не то в шею вытолкаю.

— Это ты-то? А ну-ка, попробуй! — И ражий телеграфист с усмешкой презрительным

взглядом смерил с головы до ног долговязого, но худого, чахоточного Ивана. Спор, очевидно, был неравный.

— Я, смотри, городского позову, — пригрозил Иван.

— Городового? Поди-ка, поищи его! Найдешь теперь городского, как же!

— Не то сейчас дворника от ворот кликну.

— Тю-тю твой дворник! — усмехнулся телеграфист, выпуская дым колечком. — Нет его у ворот! Поди, поди к нему в дворницкую-то, побуди его; он тебе, чай, спасибо скажет! А я тем временем пообогреюсь да вот папироску докурю. Только долго-то не мешкай: мне тоже караулить-то твою швейцарскую некогда, надо будет назад бежать.

И телеграфист уставился на Ивана насмешливым взглядом.

— Ну, так черт с тобой! Торчи тут всю ночь! — с досадой сказал Иван.

Он взял лампочку, запер двери на улицу и, не глядя на телеграфиста, удалился в свою камеру. Огонь лампочки блеснул еще раз сквозь матовое круглое стекло двери и погас.

Телеграфист спокойно докуривал папиросу.

Через несколько минут он постучал кулаком в дверь к Ивану.

— Эй, швейцар, отопри! Слышь!

Иван, дрожа от холода и досады, лежал на постели, не сняв ливреи, и, конечно, не думал засыпать, но не откликнулся на зов телеграфиста. Он только невольно раскашлялся, и его глухой кашель как бы вторил ударам кулака в дверь.

«Постой тут, постучи, собака, — думал Иван. — Экий народец — безбожник... право, безбожник...»

Досада душила Ивана.

Телеграфист забарабанил в дверь обоими кулаками так сильно, что гул пронесся по лестнице. Делать было нечего — нужно было встать. И Иван опять зажег лампочку и пошел отпирать.

— Что во сне видел? — спросил его телеграфист.

Иван молча отпирал ему дверь.

— Ну, прощай, брат, спасибо за табачок, — сказал телеграфист, уходя.

— Креста на тебе нет, — сурово произнес Иван и захлопнул за ним дверь.

«Ах ты, жизнь, жизнь, — рассуждал он сам с собой, опять лежа на кровати и кутаясь в одеяло, — хуже каторги, право хуже. Там хоть день работают, да ночь спят, а тут ни одной минуты... Вот оно и хваленое швейцарское житье! Господи, хошь бы уж один конец, что ли, — помереть бы!.. Прости мои прегрешения, Господи!»

Невольно начинает приходить ему в голову прошлое; вспоминается все, и худое, и хорошее. Вспоминается деревня... вечерки... сенокос... потом набор, вой бабы... а там Дунай, Шипка, госпиталь, опять деревня... полюбовник... пред всей деревней, можно сказать, осрамила... за грехи, должно быть... Уехал сюда... Без малого шесть лет младшим дворником... дрова в пятый этаж... неважноту стало... Почитай, два года без места... обносился весь... Опять дрова... Попал наконец «на покой» — в лежебоки, в швейцары...

Трр-трр-трр!.. Проклятый звонок!

Иван медленно приподнялся, опять зажег лампу, опять надел ливрею и пошел отпирать двери.

— Конторе Пфирзига, из Либавы, из Ельца, из Царицына две, — говорил угрюмый старик-телеграфист, бросая на стол одну за другой телеграммы.

Иван молча расписался в получении и молча проводил телеграфиста.

«А куда деваться-то? Где лучше-то? — раздумывал опять Иван, лежа в своей каморке. — Вот хоть бы их взять. Вон старик, а поди бегай ночью-то по слякоти».

На этот раз спокойно исполненная обязанность и пришедшее на ум соображение, что ведь

Пфирзиг платит ему за прием телеграмм шесть рублей в месяц, подействовали на Ивана успокоительно, и он скоро заснул.

Снится ему, что он перед праздником обмечтает каменный сводчатый потолок своей каморки, — он давно об этом думал, потому что на серой масляной краске, в которую выкрашены потолок и стены, накопилось уже довольно и копоти, и пыли, — и вдруг он видит, что отсыревшая под краской штукатурка начинает осыпаться, а за ней вываливается камень, другой, еще, и наконец весь свод с страшным грохотом обрушивается на него. Один из камней ударяет его в голову, и от боли Иван просыпается. Он продолжает чувствовать эту боль в затылке, в висках, он не может оторвать головы от подушки, а грохот падающих кирпичей становится все громче, ужаснее...

— Швейцар, да отопрете ли вы, наконец! — слышит он сквозь двери чей-то недовольный голос, сопровождаемый резким ударом каблук в дверь.

Иван вскакивает, торопливо зажигает лампу, одевается.

— Помилосердуйте, швейцар, — встречает его упреком молодой человек, квартирант, провожающий со свечой в руках своих гостей, — вы спите так, что вас пушками не разбудишь,

а тут дамы целый час в швейцарской ждать должны.

Швейцар извиняется и плетется отпирать двери.

— Боже мой, какая ужасная погода! — восклицает одна из дам, молодая изящная блондинка. — Как мы поедем, тамап?

Она останавливается у открытых дверей и не решается выйти на улицу.

— Какая досада, не взяли зонтика, а у тебя и платка на голову нет, — нерешительно произносит старушка.

— Кто же мог предвидеть, что погода так скоро переменится. Впрочем, что ж — до дому недалеко.

— Это мы все сейчас же устроим, — вмешивается молодой человек. — Швейцар, поднимитесь к нам и скажите нашей Аннушке, чтоб она дала вам мой большой зонтик, мой плед и спросила бы у мамыши теплый платок для Елены Семеновны, покрыть голову. Скорее!

— А есть ли еще извозчики? — спрашивает, спохватившись, старушка.

— Не беспокойтесь, — отвечает молодой человек, — я посылал Аннушку, и извозчик уже ждет. Впрочем, можно убедиться. Швейцар, погодите: подите сначала взгляните, тут ли извозчик.

Иван, уже поднявшийся на несколько ступенек по лестнице, спускается назад и выходит на улицу.

— Извозчик ждет, — докладывает он, возвращаясь.

— Ну, идите же скорей наверх. Смотрите не забудьте: мой зонтик, плед и платок.

Иван поднимается в пятый этаж. Каждая ступенька отзывается в его больной голове ударом молота, а ступенек — сто.

Молодой человек и дамы продолжают начатый разговор.

— Итак, Николай Николаевич, в мае мы ждем вас в Венеции, а если не захватите, то в начале июня в Лозанне.

— Непременно, непременно. За Венецию не ручаюсь, едва ли успею вырваться отсюда, а с июня и до осени я ваш неизменный спутник.

— Ну, какой вы нехороший, — надув губки, говорит блондинка, — а я хотела с вами в гондоле кататься.

Молодой человек виновато улыбается.

— Я постараюсь, постараюсь; но, вы знаете, это не от меня зависит, а от моей службы. Зато мысленно я буду сопровождать вас в Венеции на каждом шагу. Кстати, когда будете осматривать там старинные тюрьмы, то посмотрите на дверях

тюрьмы Марино Фальера⁴, уцелели ли мои инициалы, написанные карандашом.

— Вам так понравилось это помещение, что вы начертали на нем свой герб, — усмехнулась блондинка.

— Ах, Елена Семеновна, какое это ужасное помещение! Боже мой, Боже мой! Это просто каменный мешок. Знаете, там так тесно, что если лечь, то даже вытянуться нельзя как следует. И совсем, совсем темно! И люди проводили там по нескольку лет, иногда целую жизнь! Ужасно! Какие были варварские времена! Вы непременно, непременно посмотрите.

Зонтик, плед и платок принесены.

— Il faut lui donner quelque chose⁵, — говорит старуха, беря от швейцара зонтик и опуская руку в карман.

— Non, non, — противится молодой человек, — c'est mon affaire, je m'en charge⁶.

Он помогает блондинке закутать голову пуховым платком и провожает дам до дверей, от

⁴ *Марино Фальеро* (1274–1355) — 55-й венецианский дож, пытался осуществить государственный переворот. Имя Фальера было стерто с фриз в зале Большого совета, где выбиты имена всех дождей, и заменено надписью: «На этом месте было имя Марино Фальера, обезглавленного за совершенные преступления».

⁵ Надо ему дать что-нибудь (*фр.*).

⁶ Нет, нет... это мое дело, я возьму на себя (*фр.*).